



И. В. КИРЕЕВСКИЙ

Обозрение русской словесности за 1829 год

<...> Чтобы вернее определить особенность нашей литературы прошедшего года, открыть в ней признаки господствующего направления нашей словесности вообще и ее отношение к целостному просвещению Европы, бросим беглый взгляд на характер всей литературы нашей девятнадцатого столетия; ибо одно прошедшее дает цену и указывает место настоящему, определяя дорогу для будущего.

Литературу нашу девятнадцатого столетия можно разделить на три эпохи, различные особенностью направления каждой из них, но связанные единством их развития. Характер первой эпохи определяется влиянием Карамзина; средоточием второй была муза Жуковского; Пушкин может быть представителем третьей.

Начало девятнадцатого столетия в литературном отношении представляет резкую противоположность с концом восемнадцатого. В течение немногих лет просвещение сделало столь быстрые успехи, что с первого взгляда они являются невероятными. Кажется, кто-то разбудил полусонную Россию. Из ленивого равнодушия она вдруг переходит к жажде образования, ищет учения, книг, стыдится своего прежнего невежества и спешит породниться с иноземными мнениями. Когда явился Карамзин, уже читатели для него были готовы; а его удивительные успехи доказывают не столько силу его дарований, сколько повсюду распространившуюся любовь к просвещению. <...>

Карамзин застал свою публику под влиянием мистицизма, странно перемешанного с мнениями французскими из середины восемнадцатого столетия. Этим двум направлениям надлежало сосредоточиться, и они естественно соединились в том филантропическом образе мыслей, которым дышат все первые сочинения Карамзина. Кажется, он воспитан был для своей публики и публика для него. Каждое слово его

расходилось по всей России; прозу его учили наизусть и восхищались его стихами, несмотря на их непоэтическую отделку, — так согласовался он с умонаклонностью своего времени. Между тем всеобщность его влияния доказывает нам, что уже при первом рождении нашей литературы мы в самой поэзии искали преимущественно философии, и за образом мнения забывали образ выражения. До сих пор еще мы не знаем, что такое вымысел и фантазия; какая-то правдивость мечты составляет оригинальность русского воображения; и то, что мы называем *чувством*, есть высшее, что мы можем постигнуть в произведениях стихотворных.

Направление, данное Карамзиным, еще более открыло нашу словесность влиянию словесности французской. Но именно потому, что мы в литературе искали философии, искали полного выражения человека, образ мыслей Карамзина должен был и пленить нас сначала, и впоследствии сделаться для нас неудовлетворительным. Человек не весь утопает в жизни действительной, особенно среди народа недеятельного. Лучшая сторона нашего бытия, сторона идеальная, мечтательная, та, которую не жизнь нам дает, но мы придаем нашей жизни; которую преимущественно развивает поэзия немецкая, — оставалась у нас еще невыраженной. Французско-карамзинское направление не обнимало ее. Люди, для которых образ мыслей Карамзина был довершением, венцом развития собственного, оставались спокойными; но те, которые начали воспитание мнениями карамзинскими, с развитием жизни увидели неполноту их и чувствовали потребность нового. Старая Россия отдыхала; для молодой нужен был *Жуковский*.

Идеальность, чистота и глубокость чувств; святость прошедшего; вера в прекрасное, в неизменяемость дружбы, в вечность любви, в достоинство человека и благость Провидения; стремление к неземному; равнодушие ко всему обыкновенному, ко всему, что не *душа*, что не *любовь*, — одним словом, вся *поэзия* жизни, все *сердце души*, если можно так сказать, явилось нам в одном существе и облеклось в пленительный образ музыки Жуковского. В ее задумчивых чертах прочли мы ответ на неясное стремление к лучшему и сказали: «Вот чего не доставало нам!» — Еще большею прелестью украсили ее любовь к отечеству, ужас и слава народной войны.

Но поэзия Жуковского, хотя совершенно оригинальная в средоточии своего бытия (в любви к прошедшему, которую можно назвать господствующим тоном его лиры), была, однако же, воспитана на песнях Германии. Она передала нам ту идеальность, которая составляет отличный характер немецкой жизни, поэзии и философии; и таким образом в состав нашей литературы входили две стихии: умонаклонность французская и германская.

Между тем лира Жуковского замолчала. Изредка только отрывистые звуки знакомыми переливами напоминали нам о ее прежних песнях. Но развитие духа народного не могло остановиться. Как мысль зовет звук, так народ ищет поэта. Ему необходим наперсник, который бы сердцем отгадывал его внутреннюю жизнь, а в восторженных песнях вел дневник развитию господствующего направления. Поэт для настоящего, что историк для прошедшего: проводник народного самопознания.

Литература наша, как мы уже сказали, представляла два борющиеся начала; но и филантропизм французский и немецкий идеализм совпадались в одном стремлении: в стремлении к *лучшей действительности*. Пушкин выразил его сначала под светлую краской доверчивой надежды, потом под мрачным покровом байроновского негодования к существующему.

Но ни то, ни другое не могло быть продолжительным: это две крайности колебания маятника, ищущего равновесия. Между безотчетностью надежды и байроновским скептицизмом есть середина: это доверенность в судьбу и мысль, что семена *желанного будущего* заключены в *действительности настоящего*; что в необходимости есть Провидение; что если прихотливое создание мечты гибнет, как мечта, зато из *совокупности существующего* должно образоваться лучшее прочное. Оттуда *уважение к действительности*, составляющее средоточие той степени умственного развития, на которой теперь остановилось просвещение Европы и которая обнаруживается историческим направлением всех отраслей человеческого бытия и духа.

История в наше время есть центр всех познаний, наука наук, единственное условие всякого развития; направление историческое обнимает *все*. Политические мнения для приобретения своей достоверности должны обратиться к событиям, следовательно, к Истории; так Тьерри, чтобы защитить некоторые положения в парламенте, написал «Историю Франции»¹. Философия, сомкнувши круг своего развития сознанием тождества ума и бытия, устремила всю деятельность на применение умозрений к действительности, к событиям, к истории природы и человека. Математика остановилась в открытии общих законов и обратилась к частным приложениям, к сведению теории на существенность действительности. Поэзия, выражение всеобщности человеческого духа, должна была также перейти в действительность и сосредоточиться в роде историческом.

Век не мог не иметь влияния и на Пушкина: мы увидим это, говоря о «Полтаве». Но обратимся теперь к прошедшему году; теперь, с высоты общей мысли, нам будет легче обнять весь горизонт нашей словесности и указать настоящее место ее частным явлениям. <...>

Кроме XII тома «Российской Истории»², в прошедшем году вышло у нас, если верить журналам, еще одно сочинение историческое, замечательное по достоинству литературному: это «Полтава» Пушкина³. В самом деле, из двадцати критик, вышедших на эту поэму, более половины рассуждало о том, действительно ли согласны с историей описанные в ней лица и происшествия. Критики не могли сделать большей похвалы Пушкину.

Мы видели, что одно стремление *воплотить поэзию в действительность* уже доказывает и бóльшую зрелость мечты поэта, и его сближение с господствующим характером века. Но всегда ли поэт был верен своему направлению? и, переселив воображение в область существенности, нашел ли он в ней полный ответ на все требования поэзии? или выступал иногда из круга действительности, как бы видя в нем арфу, у которой недостает еще нескольких струн, чтобы выразить все движения души?

Кроме голой существенности и *дополнительной* думы поэта (которая также существенность), мы еще находим в «Полтаве» иногда думу, *противоречащую* действительности, иногда порыв чувства, несогласный с тем шекспировским состоянием духа, в котором должен находиться творец, чтобы смотреть на внешний мир, как на полное отражение внутреннего. В доказательство укажем на два места «Полтавы»: на софизм о любви стариков и на романическую чувствительность Мазепы, когда он узнает хутор Кочубея. И то, и другое противоречит истине; но и то, и другое делает минутный эффект. Это сцена из Корнеля, вплетенная в трагедию Шекспира.

Такое борение двух начал: мечтательности и существенности, должно необходимо предшествовать их примирению. Это переход с одной степени на другую; и в наше время не один Пушкин может служить примером такого разногласия. Им дышит большая часть трагедий Шиллера, все трагедии Раупаха, Фр. Шлегеля, Грильпарцера⁴ и почти все произведения новейших немецких писателей <...>.

<...> Среди молодых поэтов, напитанных великими писателями Германии, более всех блеснул и отличался покойный Д. В. Веневитинов, которого стихотворения вышли в прошедшем году⁵. Его желание исполнилось: прочтя не многое, что осталось нам после него, кто не скажет с чувством восторга и печали:

Как я люблю его созданья!
Он дышит жаром красоты,
В нем ум и сердце согласились,
И мысли полные носились
На легких крыльях мечты.
Как знал он жизнь, как мало жил!⁶

Веневитинов создан был действовать сильно на просвещение своего отечества, быть украшением его поэзии и, может быть, создателем его философии. Кто вдумается с любовью в сочинения Веневитинова (ибо одна любовь дает нам полное разумение); кто в этих разорванных отрывках найдет следы общего им происхождения, единство одушевлявшего их существа; кто постигнет глубину его мыслей, связанных стройною жизнью души поэтической, — тот узнает философа, проникнутого откровением своего века; тот узнает поэта глубокого, самобытного, которого каждое чувство освещено мыслью, каждая мысль согрета сердцем; которого мечта не украшается искусством, но сама собою рождается прекрасная; которого лучшая песнь — есть собственное бытие, свободное развитие его полной, гармонической души. Ибо щедро природа наделила его своими дарами и их разнообразие согласила равновесием. От того все прекрасное было ему родное; от того в познании самого себя находил он разрешение всех тайн искусства, и в собственной душе прочел начертание высших законов, и созерцал красоту создания. От того природа была ему доступною для ума и для сердца; он мог

В ее таинственную грудь
Как в сердце друга заглянуть⁷.

Созвучие ума и сердца было отличительным характером его духа, и самая фантазия его была более музыкою мыслей и чувств, нежели игрою воображения. Это доказывает, что он был рожден еще более для философии, нежели для поэзии. Прозаические сочинения его, которые печатаются и скоро выйдут в свет, еще подтвердят все сказанное нами.

Но что должен был совершить Веневитинов, чему помешала его ранняя кончина, то совершится само собою, хотя, может быть, уже не так скоро, не так полно, не так прекрасно. Нам *необходима* философия: все развитие нашего ума требует ее. Ею одною живет и дышет наша поэзия; она одна может дать душу и целостность нашим младенствующим наукам, и самая жизнь наша, может быть, займет от нее изящество стройности. Но откуда придет она? Где искать ее?

Конечно, первый шаг наш к ней должен быть присвоением умственных богатств той страны, которая в умозрении опередила все другие народы. Но чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может. *Наша* философия должна развиваться из *нашей* жизни, создаваться из текущих вопросов, из господствующих интересов *нашего* народного и частного быта. Когда? и как? — скажет время; но стремление к философии немецкой, которое начинает у нас распространяться, есть уже важный шаг к этой цели. <...>

Поэзия собственно французская, как утреннее солнце, золотит одни вершины. Только те минуты жизни, которые *выдаются* из жизни вседневной, которые и толпа разделяет с поэтом, имеют право входить в заколдованный круг их мечтаний, и, может быть, один Шенье делает исключение, — если можно направление Шенье назвать французским. Но муза Баратынского, обняв всю жизнь поэтическим взором, льет равный свет вдохновения на все ее минуты, и самое обыкновенное возводит в поэзию, посредством осветительного прикосновения с *целою* жизнью, с господствующею мечтою. От того, чтобы дослышать все оттенки лиры Баратынского, надобно иметь и тоньше слух, и больше внимания, нежели для других поэтов. Чем более читаем его, тем более открываем в нем нового, незамеченного с первого взгляда, — верный признак поэзии, сомкнутой в собственном бытии, но доступной не для всякого. Даже в художественном отношении многие ли способны оценить вполне достоинство его стихов, эту точность в выражениях и оборотах, эту мерность изящную, эту благородную щеголеватость? — Но если бы идеал лучшего общества явился вдруг в какой-нибудь неизвестной нам столице, то в его избранном кругу не знали бы другого языка.

Между тем красота жизни поэтической, с лица которой муза Баратынского сняла покрывало до половины, доказывает нам, что поэт еще не весь выразился в стихах своих; что мы должны ожидать еще несравненно более того, что он совершил; что ему еще предназначено столько превзойти наши ожидания, сколько разоблачение красоты может удивить воображение. <...>

Если мы будем рассматривать литературу нашу в отношении к другим европейским, то найдем в ней соединенное влияние почти всех словесностей. Мы сказали уже, что направление немецкое и французское у нас господствующие. Влияние поэзии английской, особенно байроновской и оссиановской, заметно в произведениях многих из наших литераторов. Подражания древним, хотя немногочисленные, не могли не иметь влияния на общий характер нашей литературы. Словесность итальянская, отражаясь в произведениях Нелединского⁸ и Батюшкова, также бросила свою краску на многоцветную радугу нашей поэзии. Все это живет вместе, мешается, роднится, ссорится и обещает литературе нашей характер многосторонний, когда добрый гений спасет ее от бесхарактерности. <...>

До сих пор рассматривали мы словесность нашу в отношении к ней самой, и потому с любопытством останавливались на каждом произведении, которое открывает нам новую сторону нашего литературного характера или подает новую надежду в будущем. Здесь все казалось нам важным, все достойным внимания, как семена, из коих со временем созреет плод.

Но если мы будем рассматривать нашу словесность в отношении к словесностям других государств; если просвещенный европеец, развернув перед нами все умственные сокровища своей страны, спросит нас: «Где литература ваша? Какими произведениями можете вы гордиться перед Европою?» — Что будем отвечать ему?

Мы укажем ему на «Историю Российского государства»; мы представим ему несколько од Державина, несколько стихотворений Жуковского и Пушкина, несколько басен Крылова, несколько сцен из Фонвизина и Грибоедова, и — где еще найдем мы произведение достоинства европейского?

Будем беспристрастны и сознаемся, что у нас еще нет полного отражения умственной жизни народа, у нас еще нет литературы. Но утешимся: у нас есть благо, залог всех других: у нас есть надежда и мысль о великом назначении нашего отечества! —

Венец просвещения европейского служил колыбелью для нашей образованности; она рождалась, когда другие государства уже доканчивали круг своего умственного развития, и где они остановились, там мы начинаем. Как младшая сестра в большой, дружной семье, Россия прежде вступления в свет богата опытностью старших.

Взгляните теперь на все европейские народы: каждый из них уже совершил свое назначение, каждый выразил свой характер, пережил особенность своего направления, и уже ни один не живет отдельною жизнью: жизнь *целой* Европы поглотила самостоятельность всех *частных* государств.

Но для того, чтобы *целое* Европы образовалось в стройное, органическое тело, нужно ей особенное средоточие, нужен народ, который бы господствовал над другими своим политическим и умственным перевесом. Вся история новейшего просвещения представляет необходимость такого господства: всегда одно государство было, так сказать, *столицею* других, было *сердцем*, из которого выходит и куда возвращается вся кровь, все жизненные силы просвещенных народов.

Италия, Испания, Германия (во время Реформации), Англия и Франция попеременно управляли судьбой европейской образованности. Развитие внутренней силы было причиною такого господства, а упадок силы причиною его упадка.

Англия и Германия находятся теперь на вершине европейского просвещения; но влияние их не может быть живительное, ибо их внутренняя жизнь уже окончила свое развитие, состарилась и получила ту односторонность зрелости, которая делает их образованность исключительно им одним приличною.

Вот отчего Европа представляет теперь вид какого-то оцепенения; политическое и нравственное усовершенствования равно остановились в ней;

запоздалые мнения, обветшалые формы, как запруженная река, плодородную страну превратили в болота, где цветут одни незабудки, да изредка блестит холодный, блуждающий огонек.

Изо всего просвещенного человечества два народа не участвуют во всеобщем усыплении; два народа, молодые, свежие, цветут надеждою: это Соединенные Американские Штаты и наше отечество.

Но отдаленность местная и политическая, а более всего односторонность английской образованности Соединенных Штатов, — всю надежду Европы переносят на Россию.

Совместное действие важнейших государств Европы участвовало в образовании начала нашего просвещения, приготовило ему характер общеевропейский и вместе дало возможность будущего влияния на всю Европу.

К той же цели ведут нас гибкость и переимчивость характера нашего народа, его политические интересы и самое географическое положение нашей земли.

Судьба каждого из государств европейских зависит от совокупности всех других; — судьба России зависит от одной России.

Но судьба России заключается в ее просвещении: оно есть условие и источник *всех* благ. Когда же эти *все* блага будут *нашими*, — мы ими поделимся с остальною Европою и весь долг наш заплатим ей сторицею.

